
Глава 21.

1916 год

В январе, на этот раз окончательно, был уволен Горемыкин. Не потому, чтобы царь осознал наконец несоответствие Горемыкина тем требованиям, которые предъявлял к главе правительства переживавшийся страной глубокий кризис, а по той причине, что не соответствовал в полной мере Горемыкин видам распутинского кружка. Последнему был нужен свой человек на посту председателя Совета министров. Распутин настоял на замене Горемыкина членом Государственного совета Борисом Владимировичем Штюмером¹.

Старый уже человек, крупной фигуры, высокого роста, с некрасивым лицом, воспроизводившим своими чертами облик хищной птицы, волосом рыжий с сединою Штюмер был замечателен в среде сановников тем, что побил рекорд плохой репутации. Он тренировался на это достижение с давних пор, когда еще начал строить свою карьеру, опираясь на благосклонность министра двора, потом наместника на Кавказе графа Воронцова-Дашкова, питавшего симпатию к жене Бориса Владимировича. Ради карьеры Штюмер не брезговал ничем. Когда за неутверждением кандидатов тверского земства никто не хотел идти в председатели Тверской губернской земской управы по назначению, Борис Владимирович собою «пожертвовал», приняв это назначение и тем вызвав ненависть к себе и презрение среди общественных кругов². Попал в губернаторы. Был губернатором в Новгороде, потом в Ярославле, с которым я был связан проведенною в нем моею юностью и в котором имел поэтому много друзей. Все они в один голос изобличали в Штюмере лишенного элементарной морали черносотенца, интригана и взяточника³. Из ярославских губернаторов Штюмер был назначен директором Департамента общих дел Министерства внутренних дел. О его художествах в этой должности мне не довелось что-либо слышать, за исключением связанной с оставлением Штюмером директорского поста небольшой «подробности». Выезжая из казенной директорской квартиры, Штюмер «по ошибке» вывез из нее вместе со своими вещами и всю казенную обстановку. Почему ее не потребовали от него обратно, непонятно. Вероятно, приходилось считаться со Штюмером. Его ценили. Что обычно не делалось, его прямо из директоров назначили членом Государственного совета. Обычная дорога шла через Сенат. Грязь была стихиею

Бориса Владимировича. Он не мог пройти мимо распутинского кружка. Как следует вывалялся в его грязи и сделался в нем своим человеком.

Вслед за плачевным назначением Штюрмера председателем Совета министров последовало прекрасное назначение государственным контролером умного и честного Николая Николаевича Покровского⁴. Его рекомендовал царю на эту должность испросивший разрешение ее оставить и вернуться в Государственный совет Петр Алексеевич Харитонов. Я искренне порадовался за Николая Николаевича. Спокойный пост. Умеренная работа. Увеличение оклада содержания. Прекрасная казенная квартира, хорошо знакомая мне по моим посещениям прежнего, давнего уже государственного контролера Третья Иванoviча Филиппова. Николай Николаевич и сам радовался своему новому назначению и этого не скрывал. Передо мною снова открылись гостеприимные двери на Мойке у Синего моста. Заходя к Покровским, я наблюдал постепенно расширявшийся круг их знакомства. Они стали «принимать».

* * * * *

В министерстве, помимо текущих дел, я продолжал усиленно работать по части испрошения сверхсметных кредитов на надобности, вызываемые войной. Выпадали и дела и хлопоты необычные и подчас курьезные.

К необычным относится наисекретнейше порученное мне дело составления проекта положения об управлении русского комиссара в Константинополе и штатов этого управления. Как впоследствии стало известно из декларации, сделанной в ноябре 1916 г. в Государственной думе А. Ф. Треповым, Константинополь и проливы по соглашению, состоявшемуся между Россией, Англией и Францией, передавались по окончании войны России⁵. После декларации соглашение перестало быть секретным. Но до того, пока я составлял проект, содержание его представляло тайну. Утверждение проекта приурочивалось к ожидавшемуся со дня на день, но так и не состоявшемуся падению Константинополя, осаждавшегося и штурмовавшегося союзниками с моря. В случае завладения Константинополем до окончания войны предполагалось установить в нем временное международное управление в лице комиссаров русского, француза и англичанина. С окончанием войны француз и англичанин уходили. Вводилось русское управление. Я составлял проект управления русского комиссара⁶. Комиссаром Сазонов намечал Григория Трубецкого. Я в Константинополь не очень верил. Но когда меня стали уверять, что вот-вот он падет, я Константинополем заинтересовался. Олегков щит на вратах Цареграда манил своею красивою мечтою и меня. И нехорошо становилось дома. Не один Алеша Хвостов прозревал катастрофу. Казалось, лучше быть подальше к тому времени, когда она разразится, от тех мест, где события разыграются. Я эвентуально выставил свою кандидатуру в помощники константинопольского комиссара по заведованию финансовой частью. Трубецкой обещал мою кандидатуру поддержать. Но Константинополь, как известно, не пал. Штурм его велся главным образом английскими силами. В английской мемуарной литературе теперь указывается, будто англичане нарочно не взяли тогда Константинополя, чтобы он не достался России (?). *По поводу истинных отношений союзников друг к другу мне припо-*

минаются слова видного лица в нашем Морском штабе, высказанные им в начале войны, когда ожидалось столкновение английского и германского военных флотов: «Нам было бы интересно, чтобы от германского флота и дребезгов не осталось и чтобы от английского остались одни дребезги».

По части курьезов припоминается следующий. В начале моих записок, говоря о Министерстве иностранных дел, я отметил царившее в нем немецкое засилье и привел объективные его причины. Как-никак, немецкое засилье было⁷. И во время войны никакие наиобъективнейшие причины в оправдание его не принимались. Печать по поводу немецкого засилья травила наше ведомство. В разгар этой травли Сазонов представил царю к подписанию указ Сенату о назначении посланником нашим в Тегеране советника посольства в Лондоне фон Эттера. Он как раз не был немцем, а финляндцем и, говорят, из всех финляндских родов лишь у Эттеров и еще у одного только другого рода имелась злосчастная приставка «фон». Но об этом мало кто знал, и появление указа о назначении нового «фона» неминуемо должно было вызвать новый взрыв негодования в печати. Сазонов пожелал его избежать. Между тем, указ был уже послан министру юстиции для внесения в Сенат для опубликования. Сазонов через Арцимовича поручил мне какими бы то ни было способами добиться превращения фон Эттера в Эттера tout court^a или в крайнем случае приостановить опубликование указа. Я отправился в Министерство юстиции к хорошо и с давних пор знакомому мне товарищу министра Александру Николаевичу Веревкину. Изложил ему суть дела. И между нами начался примерно такой разговор: «Что же можно сделать, Александр Николаевич?» — спросил я. «Да ничего, — отвечал Веревкин. — Подписанный государем указ приостанавливать опубликованием нельзя, а изменять его текст — тем менее. Почему это ваш Сергей Дмитриевич хватился после подписания указа, а не распорядился заранее составить его на Эттера с упущением “фона”?» — «Если бы это было предусмотрено, я бы не беспокоил сейчас вас. В том-то и дело, что уж очень тороплив Сергей Дмитриевич. А скажите, пожалуйста, ведь бывают же в “Правительственном вестнике” опечатки? Мы не так давно весело отметили в нем забавнейшую опечатку в слове “чин” в приказе о награждении каким-то мизерным орденом некоего не имеющего чина Иванова. Выходило по печатному, что не чина у Иванова нет, а чего-то другого, куда более существенного». Веревкина я развеселил. И продолжал: «Нельзя ли сделать так, чтобы наборщик или, лучше, лицо, которому было бы поручено переписать для набора указ, пропустили огорчительный для Сергея Дмитриевича эттеровский “фон”?» — «Пока вы развивали вашу мысль, — отвечал Веревкин, — я сам об этом подумал. Дайте я позвоню обер-прокурору *Первого департамента*». Позвонил. Переговорил по телефону и, повесив трубку, объявил: «Успокойте вашего министра; “фона” в указе не будет».

* * * * *

Думские комиссии начинали работать за несколько дней до открытия очередной сессии Думы. Посланный в комиссию 9 февраля, я не знал, что на этот

^a Только, просто (фр.).

день назначено возобновление занятий Думы после перерыва. И уже никоим образом не ожидал, что я увижу в этот день в Думе никогда не переступавшего ранее думского порога царя⁸.

Я стоял в заполненном членами Думы и вкрапленными в их группы представителями правительства громадном Екатерининском зале Таврического дворца. Вблизи, в окружении «старейшин» стоял менее небритый, чем обыкновенно, думский председатель Родзянко. Пронесся среди гула разговоров протяжный, как глубокий вздох, покрывший разговоры быстротою своей передачи шепот. Кто-то подскочил к Родзянко, что-то взволнованно сообщил ему. И, как сейчас вижу — картина незабываемая — грузный Родзянко, широко раздвинув ноги, мчится вскачь через Екатерининский зал к вестибюлю Государственной думы. За ним, рассыпавшись, рысью бежит свора «старейшин». Через несколько минут появляется в сопровождении отстающего на полшага склонившегося Родзянко царь в походной защитного цвета куртке — маленький перед рослыми фигурами думского председателя и выступающего позади вел<икого> кн<язя> Михаила Александровича, одетого в своеобразную форму состоящей под его командою «дикой» дивизии.

Бежать, как бежал Родзянко, вскачь навстречу царю — несколько расходится с позою того героического великолетия и достоинства думского председателя, которые рисуют его мемуары⁹.

В Екатерининском зале служили молебн. После него царь произнес обращенное к членам Думы короткое приветственное слово. Они кричали «ура». Царь прошел в зал заседаний. Оглядывал его. Постоял. Уехал. Дума ликовала. Большинство верило в поворот отношения верховной власти к Думе, в последнее время недоверчивого и недоброжелательного. Верило в ответственное правительство, долженствовавшее, по мнению думского большинства, превратить военное поражение в победу, ликвидировать охватившую страну и все углубляющуюся разруху и развал власти, устранить причины народного неудовольствия, превратив его в веру в светлое будущее, *предотвратить революцию, представляющуюся для думского буржуазно-капиталистического большинства нежелательною вообще, во время же войны — в особенности.*

Однако не надо было быть тонким политиком, чтобы разгадать истинные побуждения тех руководивших действиями царя влияний, которые послали его в Государственную думу. Расцвет влияния распутинского кружка, покоившегося на абсолютизме, питавшегося им и на нем спекулировавшего, совершенно исключал ответственное правительство, исключал и искреннее сближение с Думою, самое существование которой противоречило абсолютизму и проявления его стесняло. С Думою не считались бы, если бы не задачи обороны, дело снабжения армий, требовавшие содействия общественных кругов. Проявлялось же оно в достаточной мере эффективно. Обстоятельство это побуждало считаться с Думою. Поэтому признавалось соответственным предпочесть в отношениях к ней худой мир доброй ссоре. Задобрив Думу видимостью сближения и тем обнадежив, ничего не обещав, можно было рассчитывать, что на некоторый, по крайней мере, срок ставшая чрезмерно агрессивною по отношению к правительству Дума успокоится. Видимость сближения и была дана, — говорили, по инициативе распутинцев¹⁰.

И в самом деле, внутренний политический курс не изменился ни на йоту. Так, в самом начале марта, уволив канканирующего на народные деньги А. Н. Хво-

стова, царь, совершенно далекий от мысли об ответственном правительстве и продолжая под влиянием распутинцев разлагать имевшееся безответственное правительство, вручил портфель министра внутренних дел всем ненавистному и вошедшему уже в коллизию с Государственной думою беспортфельному председателю Совета министров Штюрмеру, с оставлением его премьером. И вслед за тем был уволен как оказавшийся, к его чести, негодным Распутину военный министр, которым Дума дорожила и который стяжал себе доверие общественных кругов — А. А. Поливанов¹¹.

А. Н. Хвостов был уволен не потому, что канканировал на народные деньги и вел политику, как сам говаривал, «пропадай моя телега, все четыре колеса», а за злоумышление против благодетеля. Началось с того, что Хвостов зазнался. Чаще стал трепать Распутину по плечу, нежели целовать ему руку. Дальше — больше: стал отвиливать от исполнения велений старца. Увидя, но уже поздно, что теряет его благосклонность, и опасаясь поэтому потерять и место, Хвостов решил эту опасность пресечь изъятием благодетеля. Вошел в переговоры с авантюристом Ржевским, отправив его к находившемуся за границею непримиримому врагу Распутина иеромонаху Илиодору подговорить последнего подослать убийц к старцу и его прикончить. Махинации Хвостова проследил товарищ министра внутренних дел распутинец С. П. Белецкий. И выдал Хвостова. Ржевский на границе был арестован. При нем были найдены документы, компрометировавшие Хвостова¹².

Преемником Поливанова был назначен интендантский генерал Шуваев, по общему отзыву, хороший, честный человек, но отнюдь не государственной складки, не военный министр, особенно для переживавшегося необычайно трудного и острого момента¹³.

Сухомлинов был арестован. С думской трибуны депутат Половцов требовал его головы¹⁴. Все-таки не верилось в его виновность.

* * * * *

Оставив должность председателя финансово-заготовительной комиссии в Управлении верховного начальника санитарной и эвакуационной части, я недолго оставался при одной службе по Министерству иностранных дел. Прошло каких-нибудь дней десять, что я расстался с принцем Александром Петровичем Ольденбургским, как ко мне позвонил Николай Николаевич Покровский и вновь предложил мне сотрудничество с ним по учреждениям военного времени, на этот раз — по Верховному совету по призрению больных и раненых воинов и семей лиц, убитых или пострадавших на войне.

Чтобы выяснить подробности, я поехал к Николаю Николаевичу, подтвердив ему по телефону мою неизменную готовность, куда бы он меня ни повел, всюду за ним последовать.

Покровский мне объяснил, что Верховный совет, состоявший под председательством императрицы Александры Федоровны, выделил в качестве исполнительного своего органа особую комиссию под председательством сестры царя вел<икой> кн<ягини> Ксении Александровны, супруги вел<икого> кн<язя> Александра Михайловича¹⁵. Товарищем председателя комиссии был А. А. Поли-

ванов. Но в бытность военным министром напряженная работа по военному ведомству вынудила его сложить с себя должность товарища председателя особой комиссии. Она была предложена Покровскому и принята им. Верховный совет имел своего управляющего делами — сенатора Георгия Георгиевича Витте (двоюродного брата Н. Н. Покровского), а особая комиссия — своего управляющего, навязанного вел<иким> кн<язем> Александром Михайловичем моряка Петра Владимировича Верховского. Императорская фамилия находилась в оппозиции к гибельной политике царя и к оказывавшей на царя пагубное влияние виновнице этой политики императрице Александре Федоровне. Ксения Александровна в эту оппозицию входила¹⁶. Верховский был не только малодеятельный и несведущий в организационной работе, какая от него требовалась, управляющий делами особой комиссии, но еще внес в задачу быстрой и эффективной организации помощи больным и раненым воинам тормозившую выполнение этой задачи политику борьбы особой комиссии, состоявшей под председательством Ксении Александровны, с Верховным советом, состоявшим под председательством Александры Федоровны. Это было, прежде всего, глупо. Последствием же своим имело, при неспособности Верховского развить большое дело в требовавшемся крупном масштабе, полнейший маразм деятельности особой комиссии. Ксению Александровну убедили расстаться с Верховским, на что она оказалась вынужденною согласиться. Заменить Верховского приглашался я. Николай Николаевич Покровский, как это он уже проделал однажды со мною, когда привлекал меня в санитарную и эвакуационную часть, опять предрешил мое согласие. Все оказалось сговоренным, и Н. Н. мне объявил, что Ксения Александровна ждет меня завтра к 12 часам к себе во дворец.

Во дворце на Мойке, вблизи Поцелуева моста, меня встретила фрейлина Ксении Александровны, моя троюродная сестра, с которой я несколько лет не виделся, Софья Дмитриевна Евреинова.

Не успели мы расспросить друг друга, что было с нами, и что мы делали за время, истекшее с последней нашей встречи, как меня позвали к Ксении Александровне. Приветливая, немного застенчивая, она подкупила меня простотою обращения, чуждою малейшего подчеркивания расстояний. Я заявил о всемерной моей готовности помочь ей в ее трудах по особой комиссии. Она просила меня бережно отнестись к Верховскому, переставшему быть управляющим делами комиссии, но оставшемуся рядовым ее членом. Просила по возможности сохранить личный состав обслуживавших комиссию должностных лиц. Заключила беседу просьбою не стесняться обращаться непосредственно к ней во всех случаях, когда я признаю это нужным.

От Ксении Александровны я направился в управление особой комиссии, помещавшееся неподалеку на Офицерской улице, через дом от Литовского замка. Самое помещение комиссии в маленькой квартире на 6-м этаже говорило о мизерной обстановке очень большого дела устройства насчитывавшихся уже сотнями тысяч инвалидов войны, не говоря о помощи семьям убитых воинов. Инвалидов предстояло провести через физиотерапевтические институты, расширив имевшиеся учреждения этого рода и насадив сеть новых, снабдить нуждавшихся протезами, обучить желающих доступным им по характеру увечий ремеслам, организовать ремесленные мастерские, обучить неграмотных грамоте для доставления возможности работы и службы, требующих соответственных знаний, устраивать

овладевших необходимыми знаниями и навыками на места и т. д., и т. д. И все это — во всероссийском масштабе, с организацией отделений комиссии в каждой губернии, в каждом сколько-нибудь значительном центре. В Москве работал по предметам ведения комиссии комитет вел<икой> кн<ягини> Елизаветы Федоровны, непосредственно связанный с особою комиссиею¹⁷. Для ускорения своей работы особая комиссия выделила по трем основным видам оказывавшейся ей помощи жертвам войны три отдела — врачебный, ремесленный и учебный. Постановления их признавались окончательными и не требовали подтверждения общего собрания комиссии. В последние вносились лишь вопросы принципиального общего значения, вопросы об отпуске потребных кредитов, распределявшихся затем по отделам, вопросы организационные и пр. Для обслуживания четырех коллегий — общего собрания и трех отделов — требовался соответствующий персонал делопроизводства. А для того, чтобы отделы могли, не задерживаясь, заниматься одновременно, нужно было и соответствующее помещение. Из делопроизводителей настоящего работника я нашел только одного, являвшегося вместе с тем помощником управляющего делами, брата П. В. Верховского Клавдия Владимировича, судебного деятеля из эвакуированных местностей, занятых неприятелем. Был еще помогавший ему в делопроизводственной работе молодой человек, однако не овладевший еще навыками, необходимыми для самостоятельной работы. Работал по делопроизводству (врачебного отдела) и очень почтенный и знающий врач, которого между тем надо было использовать по специальности, поручив ему инструктаж и наблюдение за работою врачебных устройств особою комиссией, а отнюдь не приурочивать к канцелярщине, совершенно ему чуждой. В такой же степени не по назначению и в отвлечение от основной работы использовался для канцелярских писаний инженер-технолог, являвшийся инструктором по ремесленному отделу. Теснота же помещения была такова, что не только не было разных помещений для одновременных заседаний разных отделов, но не было и специального помещения для заседаний хотя бы одного отдела. Пользовались помещением, в котором занимались служащие. Собираться, следовательно, можно было только в поздние часы, когда работа служащих заканчивалась. Теснота своего помещения приводила особую комиссию и к ненормальным и неудобным кочеваниям по разным помещениям. Заседания общего собрания происходили во дворце Ксении Александровны и Александра Михайловича, собрания врачебного отдела — в одной из зал Министерства внутренних дел, по связи врачебного отдела комиссии с медицинским управлением этого министерства.

Надо было все это переустроить, озаботившись в первую очередь приисканием соответствующего помещения и набором опытного делопроизводительского персонала. И еще надо было привлечь к работе особою комиссией внимание широких общественных кругов вовлечением в число ее членов общественных деятелей, не пренебрегая и частною инициативою по устройству мастерских и промышленных предприятий, в которых могли бы работать инвалиды. Для этого надо было использовать печать. Наконец, надо было установить нормальные отношения с Верховным советом, поколебленные неумною политикою П. В. Верховского, с московским комитетом вел<икой> кн<ягини> Елизаветы Федоровны, с которым Верховский также успел поссориться, и с некоторыми отдельными членами комиссии, устроившими учебно-показательные мастерские для инвалидов в своих домах и заведовавшими ими, к которым во всех случаях обращения их к комиссии

за требовавшимся содействием Верховский относился с нетерпимым высокомерием, стесняя их притом своим некомпетентным мелко-придирчивым контролем.

Познакомился с Клавдием Владимировичем Верховским. Он произвел на меня приятное впечатление не только счастливою внешностью, но и деловитостью. Сразу ввел в курс текущих дел с ясностью и отчетливостью, свидетельствовавшими о знании дела и о том, что, как это впоследствии подтвердилось, вся деловая часть работы держалась исключительно на нем за время управления делами комиссии его брата. Петр Владимирович, очевидно, занимался только тою «политикою», которая ввергла комиссию в маразм. Сотрудничество Клавдия Владимировича представлялось для меня ценным. Я решил *во что бы то ни стало* удержать его. Но большою было бедою, что он был братом своего брата. Петр Владимирович сумел сделаться настолько одиозным Верховному совету, что совершенно незаслуженно часть одиума была перенесена на Клавдия Владимировича. Поскольку, имея основную службу в Министерстве иностранных дел, я мог уделять управлению делами комиссии лишь часть моего времени, а не все время, причем во время моего отсутствия должен был принимать посетителей, переговаривать с ними и сноситься с Верховным советом по текущим делам мой помощник, Верховный совет дал мне понять, что дело пойдет лишь при том условии, если заменяющим меня в мое отсутствие лицом будет кто-либо другой, но только не Верховский. Приходилось пойти на компромисс. Я заявил, что вношу проект расширенного штата управления, которым предусматриваются не только добавочные должности делопроизводителей и технических служащих, но и две должности помощника управляющего: одна для замены управляющего во время его отсутствия, а другая для заведования хозяйственною частью управления, так как все равно требуется заведующий хозяйством как самой комиссии, так и требующих постоянного хозяйственного снабжения учреждений комиссии в Петербурге. Первым помощником, с которым придется иметь дело Верховному совету, пусть будет его кандидат, а вторым я удержу Верховского. Но Верховный совет должен поддержать проектированный мною новый штат управления. На этом мы согласились. Первым моим помощником был назначен весьма уже пожилой бывший управляющий канцеляриею варшавского генерал-губернатора камергер Николай Васильевич Харламов. Вторым я удержал Верховского.

Ксения Александровна тяготилась личным председательствованием в заседаниях особой комиссии по свойственной ей застенчивости. Но я просил Н. Н. Покровского настоять на том, чтобы она председательствовала в том заседании комиссии, в котором в присутствии представителей Верховного совета и ведомств финансового и Государственного контроля я буду докладывать проект расширения штатов управления, предположения об отпуске потребных средств на перевод управления в новое помещение, на содержание этого помещения и на другие организационные расходы, а равно проект основных положений, которыми регулировались бы взаимоотношения Верховного совета и особой комиссии. В числе этих положений я выдвигал возможно тесное сотрудничество управляющих делами Верховного совета и особой комиссии. Согласованность их предположений являлась бы гарантией избежания трений между советом и комиссиею. Присутствие великой княгини мне было желательно для ослабления неизбежных возражений по вопросу о размере испрашивавшихся кредитов, а также для наиболее торжественного подтверждения нового курса во взаимоотношениях Верховного совета и особой комиссии.

Заседание происходило во дворце. Ксения Александровна председательствовала. Присутствовала ее приятельница, друг детства княгиня Джамбакуриан-Орбелиани, С. Д. Евреинова, Н. Н. Покровский, графиня Орлова-Давыдова, устроившая в доме ее мужа на Сергиевской ул<ице> образцовые мастерские для инвалидов, бывший управляющий делами особой комиссии, оставшийся ее членом, П. В. Верховский, другие члены особой комиссии, в числе их — управляющий делами Верховного совета сенатор Г. Г. Витте, председатели отделов комиссии: врачебного — помощник главного врачебного инспектора Булатов, ремесленного — профессор Технологического института Овсянников, учебного — член Государственной думы Ковалевский и др. Докладывал я. Запись заседания вел К. В. Верховский. Вел<икая> княгиня со всеми моими предположениями, предварительно мною, конечно, доложенными ей, соглашалась. Возражения поэтому заявлялись не в категорической форме и сошли на нет. Предположения были приняты и внесены в Верховный совет. Дело слушалось в подкомиссии Верховного совета под председательством члена Государственного совета Стишинского в Мариином дворце, в близком моем сердце по воспоминаниям бывшем зале департаментов Государственного совета. Я был приглашен в заседание подкомиссии. С поддержки Г. Г. Витте получил утверждение всех моих предположений.

Управление особой комиссии я перенес в обширную квартиру в бельэтаже частного дома на Звенигородской улице. Но дело вскоре переросло и это помещение. Вовлечение в работу общественных сил, руководство разросшимися провинциальными отделами, устройством ряда учреждений — терапевтических институтов, ремесленных и общеобразовательных курсов, мастерских, распределительных пунктов (приобретались, переоборудовались, строились лечебницы, больницы, распределители) потребовали такого расширения аппарата, что пришлось занять под комиссию целый дом на углу Гороховой и Фонтанки по правому ее берегу, перейдя Гороховую. В нем же было помещено одно из городских убежищ для инвалидов. Помещение на Звенигородской было сохранено для статистического и справочного отделов управления.

В деле привлечения к работе особой комиссии общественного внимания неоценимые услуги оказал мой друг и гимназический товарищ Владимир Александрович Бонди, крупный журналист, редактор «Вечерних Биржевых ведомостей» и иллюстрированного журнала «Огонек». Ряд посвященных деятельности комиссии талантливых его статей, иллюстрированных снимками инвалидов мастерских, физиотерапевтических институтов и др<угих> наших устройств, пробудили интерес к мало кому известной до того времени организации со стороны самых широких общественных кругов. Талантливая популяризация Владимиром Александровичем работы комиссии много способствовала ее росту. Мне удалось склонить Бонди вступить в особую комиссию. Он сделался весьма активным членом ее. Всякое ее заседание, в котором он принимал участие, протекало с редким подъемом. Он сделал комиссии много использованных ею ценных предложений. Отстаивал их так убедительно, красочно и горячо, что присутствовавшие слушали его с напряженным вниманием и всякое его выступление единодушно приветствовалось.

Совместная наша работа способствовала частым встречам. Незабываемы проведенные у Владимира Александровича часы в его чудной квартире на Офицерской ул<ице>, широкое его хлебосольство, полная интереса, искрящегося ума беседа, пленительные аттракционы, которыми он баловал иногда своих гостей,

собиравшееся у него общество прелестных женщин и умных мужчин. Встречался я у него с писателем Куприным, скульптором Аронсоном, *выдающимся финансистом Ярошинским*, сотрудниками по журналистике, многими другими интересными людьми. Ввел к нему из деятелей комиссии Г. Г. Витте, княгиню Орбелиани, Н. Н. Покровского.

* * * * *

Летом, в июле, был неожиданно уволен Сазонов. Факт его увольнения в разгар «министерской чехарды» никого не удивил. Но неясны были самому Сазонову причины увольнения. Императоры германский и австрийский торжественно провозгласили автономию Польши по окончании войны. Сазонов настаивал на обнаружении подобного же акта в России в подтверждение недостаточно определенной и веской декларации по этому предмету вел<икого> кн<язя> Николая Николаевича¹⁸. Императрица Александра Федоровна, Штюрмер, следовательно, Распутин противились предложению Сазонова. Говорили, что причиной его увольнения явилось разномыслие по польскому вопросу. Верится с трудом, ибо не так же настаивал на своем предложении Сазонов, чтобы нужно было его гнать. Вернее другое. Только слепому не была видна быстро надвигающаяся революция. Фактически правивший Россию распутинский кружок, отстаивая неизбежность строя, только при котором распутиновщина и могла существовать, справедливо рассуждал, что не предотвратить революцию — значило для распутиновщины погибнуть. Революционное движение, после 1905 года затихшее, воспрянуло вследствие неудачной войны. Кончить войну значило если не предупредить революцию, то ее ослабить до степени, не исключаяющей возможности подавления. Надо было кончать войну. Представлялся желательным сепаратный мир. Склонить к нему царя было задачей трудной, настолько в нем была сильна ненависть к императору Вильгельму. И прежде царь не любил Вильгельма, завидуя ему. После же того, как Вильгельм в речи, обращенной к народу по случаю начала войны, изблещил в царе «изменника», не скупясь и на более оскорбительные выражения, в царе зажглась по отношению к германскому императору лютая злоба. Вследствие подобного настроения царя особенно трудным представлялось привести его к сепаратному миру при наличии такого преданного «антанте» министра иностранных дел, как Сазонов, *и ранее не мнившего другого для России пути, как только путь франко-английской дружбы*. Надо было Сазонова удалить. Смещать же, назначать министров было для распутинского кружка делом *совершенно* привычным *и легким*.

Преемником Сазонова был назначен премьер-министр Б. В. Штюрмер. Для проведения сепаратного мира Распутин не смог бы подыскать более подходящее лицо. И в глазах царя он имел кое-какое значение (как-никак премьер, к которому царь уже возымел доверие). И «старцу» представлялся надежным по беспрекословному выполнению его директив (сказывали, Распутин говорил, что ведет Штюрмера «на веревочке»)¹⁹.

Портфель министра внутренних дел перешел к министру юстиции Александру Алексеевичу Хвостову — дяде бывшего опереточного министра внутренних дел Алексея Николаевича Хвостова, а министром юстиции был назначен бывший ранее министром внутренних дел (после смерти Столыпина и до назначе-

ния Маклакова) Александр Александрович Макаров. Почти одновременно был уволен министр земледелия Наумов и заменен другим общественным деятелем, малодетельным и тусклым графом Бобринским. Несколько погодя, в августе, был смещен обер-прокурор Синода Волжин и заменен сыном бывшего петербургского митрополита Палладия Раевым²⁰. *Два обер-прокурора, имевшие фамилии, но не стяжавшие себе имен.*

* * * * *

Сазонов прощался с личным составом министерства. Обратился к присутствовавшим с короткою речью, не потребовавшею прочтения по шпаргалке и произнесенною, не в пример обычаю Сергея Дмитриевича, свободно и гладко. Как водится, поблагодарил за совместную службу, пожелал успехов. Выразил уверенность в конечной, казавшейся ему близкою победе России.

* * * * *

Когда мы узнали, что министром к нам назначен Штюрмер, мы испытали такое чувство, как будто нас окатили помоями.

Явившись к нам, Штюрмер начал с молебна в домово́й церкви министерства. Потом обходил присутственные помещения и знакомился со служащими.

Был удален, с назначением сенатором, второй товарищ министра Владимир Антонович Арцимович. Я был несказанно этим огорчен, спаявшись в работе и сдружившись с ним. Штюрмер в поисках человека «соответственного» пытался заменить Арцимовича посланником в Португалии Петром Сергеевичем Боткиным²¹. Боткин был известен в иностранных дипломатических кругах в качестве германофила. Действительно, в области внешней политики он был сторонником ставки на Германию. В этом отношении он был последователем некоторых весьма почтенных старых русских дипломатов — бывшего посла в Константинополе И. А. Зиновьева, бывшего посланника в Японии, потом посла в Северо-Американских Соединенных Штатах барона Розена и др. Для участия в подготовке сепаратного мира Боткин казался Штюрмеру соответственным. Но уже назначение самого Штюрмера всполошило союзников. Лондонский кабинет через посла нашего графа Бенкендорфа категорически требовал от нас подтверждения неизменности политического курса, проводившегося Сазоновым. Представлялось несомненным, что назначение товарищем министра «германофила» Боткина будет сочтено союзниками за прямой вызов. А до времени ссориться с союзниками было рискованно. Штюрмер на этом мог сломать себе шею, не успев выполнить своей миссии. От мысли провести Боткина себе в товарищи Штюрмеру пришлось отказаться. Он провел назначение бывшего в свое время консулом нашим в Бомбее, а потом отошедшего от активной службы по ведомству Александра Александровича Половцова — сына члена Государственного совета, бывшего государственного секретаря А. А. Половцова. *Странное назначение!*

Кроме Арцимовича Штюрмером были еще удалены директор канцелярии барон М. Ф. Шиллинг, назначенный сенатором, и вице-директор Второго де-

партамента А. П. Вейнер, зачисленный в Совет министерства без содержания. Директором канцелярии был назначен первый секретарь посольства в Париже Б. А. Татищев, а вице-директором Второго департамента — первый секретарь посольства в Токио князь Л. В. Урусов. Вейнер, лицеист по образованию, богатый человек, знающий и способный, был уволен за еврейское происхождение²². Раньше неистово русский Штюрмер антисемитизма не проявлял. Был к Штюрмеру очень близок — еще со времен губернаторства в Ярославле — вовлеченный им в службу по администрации талантливый доцент Демидовского лицея И. Я. Гурлянд. Это была связь приличная. Но были отношения с евреями и совсем нехорошие, и с нехорошими евреями — с темным проходимцем Манасевичем-Мануйловым, распутинскими банкирами Рубинштейном, Манусом и другими. За очень темные аферы, пахнувшие по обстоятельствам военного времени изменою, разоблаченные Государственной думою Манасевич и Рубинштейн не смогли отвертеться от суда²³. И в связи с их художествами трепалось имя премьера. Ему захотелось показать, что не только чужды ему сомнительные евреи, но невыносимы лица и повинные лишь в еврейском происхождении.

* * * * *

Дипломатический триумvirат при петербургском кабинете в лице русского министра иностранных дел и послов английского и французского с отставкою Сазонова рассыпался. Недаром Бьюкенен настолько дорожил Сазоновым, что как только до него дошел слух о возможности увольнения Сергея Дмитриевича, то английский посол не остановился перед попыткою вмешаться во внутренние русские дела, с *развязностью истинного британца* обратившись с письмом к царю, в котором предостерегал от увольнения Сазонова²⁴.

По привычке Бьюкенен и Палеолог явились после отставки Сазонова в обычный час в министерство для установившегося с начала войны ежедневного обмена мнениями и сведениями с русским министром иностранных дел. Как они рассказывали, Штюрмер изобразил на своем лице недоумение. Казалось, на губах замер вопрос: «Зачем вы пришли? Что вам нужно?» И выражение недоумения не покидало Штюрмера во все время беседы. Поддерживал он ее едва членораздельными звуками, *не обозначавшими ровно ничего*. Послы пришли во второй и третий раз. Штюрмер недоумевал все больше и больше. Сидел с выпученными глазами и открытым ртом, как бы пораженный удивительно несообразностью *и только мигая*. Мимика его в конце концов убедила послов в тщете дальнейших посещений нового русского министра иностранных дел. *Они сделали соответствующие выводы*.

* * * * *

Вел<икая> княгиня Елизавета Федоровна созвала в Москве съезд деятелей помощи больным и раненым воинам. От особой комиссии Верховного совета пришлось ехать мне. По приезде в Москву я начал с того, что побывал у управляющего делами комитета вел<икой> княгини Языкова. Он меня про-

сил присутствовать на заседании финансового отдела комитета вечером того же дня. В заседании выяснилась необходимость значительных денежных ассигнований на мероприятия комитета из средств Государственного казначейства. Меня спросили, можно ли рассчитывать на их получение. Я отвечал, что можно и что я предоставляю себя в распоряжение комитета, чтобы помочь ему исхлопотать потребные ассигнования с поддержки особой комиссии, считая прямою ее обязанностью содействовать осуществлению задач местных комитетов. Часть потребных средств может быть даже отпущена тотчас из ресурсов особой комиссии. Меня благодарили, заявив, что выслушали с тем большим удовлетворением, что московский комитет не привык к такому предупредительному отношению со стороны особой комиссии. К иному ее приучил П. В. Верховский. Я отвечал, что комиссия придерживается теперь иных взглядов и методов работы, что о методах Верховского надо позабыть. Лед был сломан, и дальнейшие прения протекали в атмосфере взаимного понимания и доверия.

На следующий день утром я был принят вел<икой> кн<ягиней> Елизаветою Федоровною в ее монастыре в Замоскворечье. По-видимому, ей уже успели доложить о моих заявлениях в комитете. Она была весьма любезна со мною. Пригласила назавтра к вечернему чаю. Была так же проста в обращении, как вел<икая> кн<ягиня> Ксения Александровна. Вечернюю чашку чая я получил из рук Елизаветы Федоровны в небольшом кругу собравшихся. Помимо приближенных двух-трех дам и меня, присутствовал только бывший московский городской голова Николай Иванович Гучков. Разговор велся преимущественно на темы о бедствиях войны, о ее жертвах, о помощи этим жертвам. Я рассказывал о начинаниях Верховного совета и особой его комиссии.

Последующие встречи мои с великою княгиней происходили на съезде, на котором я входил в состав бюро. Приходилось выступать в собраниях съезда, когда по обсуждавшимся предложениям требовалось заключение представителя особой комиссии.

Между заседаниями съезда объезжали устроенные городом и другими общественными организациями разного рода учреждения помощи больным и раненым воинам.

* * * * *

По моем возвращении в Петербург мне как-то был передан в министерстве к исполнению утвержденный царем очередной доклад министра иностранных дел без обязательной пометки на нем министра о времени и месте утверждения. Я пошел к Штюмеру за пометкою. Мне сказали, что он неожиданно заболел. Но доклады сотрудников принимает. Только извиняется, что вынужден принимать в постели. Пошел к нему. Застал картину оригинальную. В постели лежал человек, производивший впечатление совершенно здорового. Я бы даже сказал, что никогда не видал Штюмера более здоровым. Притом залег он в постель одетый — в крахмальном белье, в легкой пиджачной паре, в зашнурованных ботинках, только прикрытый одеялом, из-под которого выглядывали кончики ботинок и белый пластрон под веселеньким галстуком. «Больной» извинился, что принимает, лежа в кровати. Пометку на докладе учинил! И стал распространяться

на тему о трудных временах. Я слушал, не в первый раз отмечая, что у этого неприятного человека был удивительно приятный тембр голоса. «Поверьте, — жаловался он, — каждый год, проведенный в нынешних условиях, стоит пяти лет жизни». Я сочувственно согласился и, забрав помеченный доклад, ушел, весьма заинтригованный картиною здорового больного в постели.

Вечером я был у Покровского. Рассказывал о здоровом больном. «Ну конечно, притворяется, — смеялся Покровский. — Дело в том, что приехал из Ставки царь. И Штюрмер от него прячется. Ведь он маклерует регентство императрицы на время верховного командования царя. Не знает, как царь отнесется к его махинациям. Наблюдил, струсил. Хочет, чтобы ранее его встречи с царем дело уладилось между супругами. Тогда ему показаться будет не так рискованно. А пока, конечно, лучше поболеть».

* * * * *

Покровский только перед тем вернулся из поездки в Париж, куда был послан на конференцию союзников в качестве представителя русского правительства²⁵. Послан был еще по докладу Сазонова, незадолго перед увольнением последнего. «Легкомысленный человек ваш министр, — говорил мне перед своим отъездом Покровский про Сазонова. — Как мог он, меня не предупредив, не переговорив со мною, почти совершенно меня не зная, назвать меня царю для отправления на конференцию. Ведь я совершенно не посвящен в те вопросы, которые она будет обсуждать. Когда я спросил у Сазонова, как он мог решиться назвать меня, он мне ответил: “Вы так хорошо говорите по-французски”». Что Сазонов был легкомыслен, я устал в свое время повторять. Но на этот раз Сазонов не ошибся. Николай Николаевич потребовал от него переписку министерства, касающуюся вопросов, подлежащих обсуждению конференции. обстоятельно, как он только и умел что-либо делать, ее изучил. И отправился в Париж блестяще подготовленным. Произвел, как говорили, наилучшее впечатление в конференции.

Владимир Александрович Бонди, едва ли из всех журналистов того времени не наилучше осведомленный, сообщал мне время от времени сенсации по телефону. Телефонировал как-то утром в сентябре, что уволен министр внутренних дел Александр Алексеевич Хвостов (не прошло и полутора месяцев со дня его назначения) и назначен на его место товарищ председателя Государственной думы Протопопов. Протопопов, бывший офицер, бывший предводитель дворянства, крупный суконный фабрикант, участвовал в делегации Государственной думы, посетившей в 1916 году Францию и Англию²⁶. На возвратном пути, отстав от прочих членов делегации, задержался в Стокгольме, где имел свидание с представителем германского правительства. Разговор шел на тему о сепаратном мире. Протопопову поручалось передать русскому правительству от имени германского правительства предложение заключить сепаратный мир. Протопопов путался в показаниях, кто именно с ним говорил. Уверял, что германский посланник. Выходило, что какое-то второстепенное лицо²⁷.

Выслушав утром сенсацию о назначении Протопопова, я днем встретился с Н. Н. Покровским на выставке протезов, открывшейся в доме «Общества дешевых помещений» у Марсова поля, на углу Царицынской улицы и Мойки. Захо-

тел проверить у Николая Николаевича правильность сообщения Бонди. К кому, в самом деле, было и обратиться за проверкою сообщения о перемене в составе правительства, как не к члену правительства, каким в то время был в качестве государственного контролера Покровский? Николай Николаевич поднял меня на смех. «Это информация вашего Бонди? Ну, на этот раз он проврался. Протопопов и ранее не принимался всерьез. А стокгольмским своим свиданием окончательно себя дискредитировал. К тому же он, по-видимому, сумасшедший. Кого хотите называйте, только не его. Назначение Протопопова совершенно невозможно!»²⁸

Вечером — звонок по телефону. Говорит Покровский. Смущенным голосом. «Должен признаться, что вы были правы. Ваша информация верна. Но кто бы мог этому поверить?»

Вот как назначали министров и кого назначали министрами в 1916 году.

В октябре был уволен с поста министра юстиции Макаров и заменен по указанию распутинской клики *отличавшимся рекордною беспринципностью* бывшим обер-прокурором Первого департамента Сената сенатором Добровольским²⁹.

* * * * *

Работа моя по особой комиссии Верховного совета в связи с развитием ее деятельности настолько увеличилась, что совмещение этой работы со службою в министерстве стало для меня столь же тяжелым, как в свое время служба по совместительству в санитарной и эвакуационной части. Выезжая из дома часов в 9 утра, я возвращался домой из-за почти ежедневных вечерних заседаний особой комиссии зачастую после полуночи. И должен был еще дома заниматься. А с раннего утра, не давая мне досыпать, звонил телефон. Я очень утомился. Короткая поездка на съезд в Москву по делам особой комиссии, уже относительно давняя, потребовавшая напряжения и в Москве и продолжавшаяся едва ли многим более недели, не дала мне ни малейшего отдыха. Так как я не досыпал, то мне, прежде всего, безумно хотелось спать. Уверенный, что в Петербурге спать мне ни в каком случае не дадут, даже если я объявлю себя больным или настою на законном отпуске, я решил, чтобы поспать, уехать куда-нибудь недельки на две подальше. Остановился на Гельсингфорсе, в котором раньше никогда не был, который меня интересовал и посетить который я имел законный повод. Уже давно следовало посмотреть на работу местного комитета помощи больным и раненым воинам, состоявшего под председательством генерал-губернатора, выяснить нужды этого комитета и установить связь с ним. Вел<икая> кн<ягиня> Ксения Александровна находилась в своем крымском имении Ай-Тодор. Я ей телеграфировал, прося разрешения посетить Гельсингфорс. Получил ответную телеграмму, конечно, с согласием, и, отпросившись в министерстве, поехал в Финляндию... спать.

Основательно выспался уже в первую ночь в купе. В вагоне железной дороги удивительно покоит нервы уверенность в том, что сюда-то уже не позвонит к вам телефон и никто, ничто не оторвет вас призывом к изнервившей будничной работе от убаюкивающей сонной грезы, навеваемой мерным стуком колес.

Под утро мы мчались вдоль плакавших осенними слезами печальных карликовых лесов, дымившихся серым облаком болот, унылых оголенных лугов

и пашен. Печальные северные задворки природы уносили мечту к упоительным контрастам юга.

Гельсингфорс прелестен своею эспланадою и набережною. В остальном, по крайней мере в 1916 году, город был только сносен. Но он был европеец с головы до ног. Хороши гостиницы, рестораны, магазины.

Я посетил генерал-губернатора генерала Зейна. Он познакомил меня со своею женою. Супруги показали мне груды одежды для больных и раненых воинов, сшивавшейся под патронажем жены генерал-губернатора городскими дамами в его дворце. Побеседовали. Я не задержался. Гостеприимством генерал-губернаторской четы обворожен не был. Петербургского гостя ничем не почтили, даже не предложили чашки чая. Делопроизводство местного комитета помощи жертвам войны было возложено на канцелярию генерал-губернатора. Я познакомился с этим делопроизводством и с лицами, им занимавшимися. Размах дела был небольшой. Посетил кое-какие лазареты.

И стал спать ночью и днем до одурения, совершая в промежутках небольшие прогулки и завтракая и обедая в ресторане гостиницы, в которой остановился. Констатировал, что Гельсингфорс умеет быть скучным для новоприезжих, а потому является лучшим городом для тех из них, которым нужно побольше отдыха и поменьше отвлечений от него.

* * * * *

В Петербурге я застал настроение подавленное. Известия с фронта были плохие. Армию все более охватывала деморализация вследствие поражений и, как назло, мы еще потерпели неудачу на румынском фронте. Исчерпывались призывы старших возрастов. Уставшее от неудачной войны население отдавало запасных неохотно. Брались последние землеробы. И брались без толку, без плана. В тылу бездействовало резервистов раз в восемь больше, чем было бойцов на фронте. Царили хаос и беспорядок в направлении запасных к частям. Месяцами люди шатались от этапа к этапу. Блуждали. Попадая не туда, куда следовало, отсылались обратно. Кадровое офицерство было частью перебито, частью изувечено, частью в плену. Офицеры запаса не имели авторитета в глазах солдат, особенно из числа великовозрастных запасных. В бездействии, в недовольстве мобилизованные резервисты разлагались. Попадали на фронт из-за недостатка снаряжения невооруженными и только там получали ружья, выпавшие из рук убитых и раненых товарищей. Прибывавшие великовозрастные резервисты разлагали и без того деморализованных поражениями более молодых фронтовиков. С фронта в тыл и обратно, в настойчиво требовавшееся объяснение поражений на фронте и разрухи в тылу, передавалось черное слово «измена». Власть, безнадежно погрязшая в позоре распутиновщины, презиралась. Императрица Александра Федоровна за губительное ее влияние на царя стала предметом всеобщей острой ненависти и тягостных подозрений. Правительство, из-за присутствия в его среде занимавших ответственные руководящие посты политических авантюристов, не только бесчестных, но и бездарных, догнивало. И власть точно нарочно ускоряла его распад новыми безумными назначениями. Государственная машина расплзлась по всем швам. Транспорт был в полном расстройстве. При наличии больших продо-

вольственных запасов в производящих местностях над страну нависла угроза голода из-за невозможности, вследствие разрухи, переброски этих запасов в пункты потребления. В городах стали испытываться продовольственные лишения. Нарастал недостаток во всем. Появились до того времени не виденные хвосты перед продовольственными лавками. Возвращаясь порою домой в поздние часы, я наблюдал образование хвостов перед мясными лавками на Сенной уже с ночи. Озлоблявшие население непривычною своею тяготою хвосты являлись предвестниками грозного народного бунта. Призрак его носился по всей стране от края и до края. Революция наступала с не скрывавшеюся решительностью и определенностью, охватив не только рабочие массы, армию, крестьянство, всю организованную общественность, но и круги, близкие к власти. Только слепому не были видны громадное сосредоточение революционных сил и неминуемость их победы. Но царь их не видел, не хотел видеть или притворялся, что не видит. Обреченность делала его глухим ко всем предостережениям. «Вы неправильно осведомлены. Мои сведения противоположны» — было обычным стереотипным ответом царя тем честным членам правительства, которые ему указывали на неминуемость гибели, если не будет в корне изменен политический курс, не будут удалены ненавистные министры, начисто сметена позорящая царскую державу распутиновщина, не будет устранено влияние на дела правления императрицы Александры Федоровны³⁰. Царь в своей обреченности порывал со всем, что только могло его спасти. Шел на открытый разрыв со всею общественностью, на перманентный конфликт с Государственною думою, за которою шли, между тем, потерявшие веру в правительство все умеренные круги, являвшиеся оплотом гибнущего строя. Императрица Александра Федоровна была не столь слепа в отношении революции. Докладчик ее по делам Верховного совета по призрению больных и раненых воинов Г. Г. Витте в эти дни говорил мне, со слов Александры Федоровны, что не веря в неминуемость революции, она все-таки считается с ее эвентуальностью. Но в этом отношении полагается на божью волю. Будет она такова, что революция случится, императрица готова воспринять судьбу Марии Антуанетты. Но она не отступится от борьбы за передачу сыну неприкосновенною и во всей ее полноте власти, унаследованной его отцом от предков. Страх за собственную свою судьбу поставил в оппозицию к царю всю императорскую фамилию, не исключая императрицы-матери, удалившейся в Киев, чтобы только не видеть всего того, что ее печалило, возмущало и тревожило, но бороться с чем она была так же бессильна, как некогда находившиеся в числе приближенных царя другие преданные ему честные люди³¹. Все они были удалены. И остались одни лукавые друзья или молчаливники. Опасность признавалась настолько неминуемою, что ввиду безнадежности сломить упорство царя всеми испробованными и исчерпанными мерами убеждения замышлялся дворцовый переворот. Открыто говорилось о существовании заговора, в котором участвовало офицерство и к которому примыкали члены императорской фамилии³². Другого средства попытаться предотвратить катастрофу уже не мыслилось. Но в царской России последних сумеречных дней ее упадка в вырождавшейся среде, замыслившей переворот, не находилось сильных людей. О перевороте слишком много говорилось, чтобы слова могли претвориться в дело.

Политическая атмосфера была настолько накалена, что в начале ноября появление Штюрмера в Государственной думе вызвало грандиозный скандал. Он

был позорно выгнан из Думы под неистовые крики огромного ее большинства: «Долой, вон, изменник». Через несколько дней пришлось его убрать с поста председателя Совета министров. Но он был оставлен министром иностранных дел. Премьером был назначен приличный человек, но неспособный — Александр Федорович Трепов, за год перед тем занявший пост министра путей сообщения и не сумевший на этом посту не то что упорядочить транспорт, но хотя бы несколько удержать стремительный его развал³³.

* * * * *

Ксения Александровна оставалась в этом году у себя в Ай-Тодоре в Крыму дольше обыкновенного. Я посылал ей по почте доклады о работе особой комиссии и телеграммами спрашивал ее согласие на мероприятия принципиального характера. Она пожелала лично переговорить. Телеграммою вызвала к себе в Крым.

В виду военного положения путь в Ялту через Севастополь представлялся неудобным. Я взял билет на Симферополь, обратившись по телеграфу к управляющему делами местного комитета помощи больным и раненым войнам с просьбою заказать мне автомобиль для переезда в Ялту.

В Симферополь я приехал поздно ночью. Управляющий местного комитета меня встретил и посадил на автомобиль. Была половина ноября. В Симферополе была зима и держался снег. В дороге было темно как в погребе, пустынно, одиноко, жутко. Дороги было верст сто. Так как она вилась по горам, то скорость приходилось поддерживать умеренную, и путь был поэтому долгий. Когда мы спустились к морю, ночь миновала. Но не только сменилась ночь днем. Еще симферопольскую зиму заступила мягкая, теплая осень южного берега. Во второй половине ноября попадались запоздалые цветы. И только роскошные летние краски Крыма выцвели и посерели.

В Ялте я остановился в гостинице «Россия». Ввиду позднего времени года она была почти пуста. Мне отвели номер в две комнаты с балконом, выходящим в сад. Погода была настолько теплая, что только перед тем расставшись со снежно-морозною зимою, я испытал радость контраста, сидя на балконе без пальто, в одном плотном форменном сюртуке. Потребовал себе на балкон утренний кофе. Телеграфировал в Ай-Тодор, докладывая о приезде и спрашивая себе назначение приема. Отдохнув и позавтракав в ресторане гостиницы, отправился посетить генерал-губернатора, к которому были у меня дела. Генерал-губернатором был генерал Спиридович, служивший раньше в жандармерии, заведовавший одно время дворцовою охраною в Царском Селе, пользовавшийся покровительством Александры Федоровны, а потому неугодный находившейся в оппозиции к ней членам императорской фамилии, в том числе Ксении Александровне³⁴. Имя его, между прочим, связывалось с делом об убийстве Столыпина в Киеве в 1911 году, так как он входил там в царскую охрану, состоявшую под главным заведованием Курлова. Но к нему лично каких-либо обвинений по этому делу общественное мнение не предъявляло^а.

^а Последнее предложение вписано от руки, поверх заклеенной прежде написанной фразы.

Спиридовича я дома не застал и пошел к отправившемуся, как мне было известно, в Ялту после отчисления с должности товарища министра иностранных дел Владимиру Антоновичу Арцимовичу. Назначенный в Сенат, он уговорился о вступлении в исправление своих новых обязанностей не ранее начала января, нуждаясь, как он говорил, в отдыхе после усиленных занятий, а на самом деле нуждаясь в перемене обстановки и в покое, чтобы легче пережить первую боль от нанесенной ему Штюмером незаслуженной обиды увольнения из родного ведомства. Устроился Владимир Антонович с женою и падчерицею в одном из флигелей дворца бухарского эмира. Устроил его там начальник среднеазиатского политического отдела нашего министерства В. О. Клемм, которого эмир просил принять на себя руководящее наблюдение за принадлежавшими эмиру в нескольких местах недвижимостями в России.

Владимир Антонович мне обрадовался. Я был приветливо принят и его женою, и *очаровательною* падчерицею мисс Мирьям. Арцимович много расспрашивал про министерство, про общее положение дел в Петербурге, про дела, приведшие меня в Ялту. Когда я уходил, меня просили назавтра обедать и во время пребывания в Ялте возможно чаще заходить.

Посетил еще одного будировавшего сановника — Леонида Михайловича Князева. Этого удалили с должности иркутского <генерал->губернатора с назначением в Государственный совет, дабы очистить место Белецкому, раскрывшему «покушение» веселого министра внутренних дел Алеши Хвостова на Распутина³⁵. Ялта становилась убежищем обиженных и будировавших сановников. Князев приехал в Ялту с женою — моею двоюродною сестрою Мариею Николаевною. Она оставалась безутешною после гибели сына-конногвардейца в первое наше наступление в Восточную Пруссию.

Вечером в гостинице я нашел ответную телеграмму Ксении Александровны. Она сообщала, что ждет меня назавтра с утра, что за мною будет выслан автомобиль.

На следующий день, едва я встал и оделся, как зашел ко мне генерал-губернатор Спиридович. Высокого роста. Относительно молодой. Стройный. Шаблонное офицерское лицо — коротко остриженные волосы, бритый подбородок, подстриженные усы. Сообщил, что Ксения Александровна облюбовала в Ялте для устройства физиотерапевтического института частную лечебницу, прекрасно отстроенную и хорошо оборудованную, которую владельцы собирались, по слухам, ликвидировать. Несомненно, вел<икая> княгиня поручит мне испросить средства для приобретения этой лечебницы для особой комиссии, как равно для покупки продающейся под Ялтою усадьбы, в которой Ксения Александровна задумала устроить санаторию для туберкулезных детей лиц, пострадавших на войне. Спиридович вызывался помочь мне вести переговоры с владельцами лечебницы и усадьбы. Просил довести до сведения вел<икой> княгини, что он вообще отдает себя в ее распоряжение по делам особой комиссии, тем более, что является председателем местного комитета помощи больным и раненым воинам. Жаловался, что Ксения Александровна его игнорирует. Просил помочь ему наладить отношения с великою княгинею. Он еще сидел у меня, как пришел швейцар сообщить, что мне подан автомобиль Ксении Александровны. Прощаясь со Спиридовичем, я с ним уговорился, что на следующий день утром заеду за ним в его канцелярию, и мы вместе отправимся осматривать намечавшиеся к приобретению для особой комиссии лечебницу и имение.

Переезд на автомобиле из Ялты в Ай-Тодор, мимо Ливадии и Алупки — сплошное удовольствие. Было жаль, что этот переезд оказался слишком коротким.

Великая княгиня, здороваясь со мною, насмешливо заметила, что не имела еще случая поздравить меня после отставки Сазонова с назначением Штюмера. Поздравляет теперь. Надеется, что я новым министром доволен. Я, признаться, растерялся. В щекотливое она меня ставила положение. Не мог же я родной сестре царя критиковать его действия. Сконфуженно бормотал: «Воля государя императора...» Ксения Александровна *смеялась. Потом серьезно заметила: «Все это ужасно грустно»*. Повела меня за собою завтракать. В столовой я застал дочь Ксении Александровны Ирину Александровну, супругу князя Ф. Ф. Юсупова-Сумарокова-Эльстона, находившихся при великой княгине младших ее сыновей, княгиню Орбелиани, двух незнакомых мне дам и мою кужину Евреинову. Сели завтракать. Блюдами присутствовавших не обносили. На стол были поставлены серебряные миски с кушаньями, подогревавшимися поставленными под каждой мискою спиртовками. Ксения Александровна сама накладывала кушанья на тарелки своим соседям и себе. Меня она посадила рядом с собою и заботливо угощала. После завтрака предложила курить и закурила сама. Кофе мы пошли пить в гостиную. Тут от разговоров на общие темы мы перешли к делам. Я вкратце повторил содержание моих письменных докладов, рассказывая о значительном развитии деятельности особой комиссии. Рассказал затем о моей беседе со Спиридовичем.

Ксения Александровна признала, что информация его верная. Ей бы хотелось устроить и физиотерапевтический институт, и детскую туберкулезную санаторию в благодатных условиях Крыма. Просила меня осмотреть облюбованные ею для этой цели лечебницу в Ялте и усадьбу под Ялтою, а также побеседовать о детской туберкулезной санатории с двумя знакомыми ей врачами, заведовавшими подобною же санаториею близ Алупки. Я говорил о предложении Спиридовича помочь мне в моих хлопотах, о его желании быть полезным великой княгине и завязать отношения с нею. Относительно последнего желания Спиридовича Ксения Александровна заявила, что оно неосуществимо, что никаких отношений с ним она поддерживать не желает.

Я осматривал со Спиридовичем лечебницу и усадьбу. И со своей стороны нашел их отвечающими целям задуманных в них устройств. И деньги, которые владельцы хотели за них получить, не представляли сумм преувеличенных. Ездил в детскую туберкулезную санаторию близ Алупки познакомиться и побеседовать с врачами, заведовавшими этою санаториею. Они выяснили мне, какие потребуются приспособления, какое оборудование для проектировавшейся новой санатории под Ялтою, какую можно исчислить приблизительную смету дополнительных расходов на ее устройство сверх средств, потребных для приобретения усадьбы для санатории.

Несколько раз ездил завтракать в Ай-Тодор, обедал у Арцимовича, обедал у Спиридовича. Познакомился с его женою, интересною и красивою.

Покончив с делами, все, что нужно было, осмотрев, подробно договорившись о приобретении лечебницы и усадьбы для санатории, собрав весь нужный материал для испрошения потребных кредитов, успокоив Ксению Александровну относительно налаженности работы особой комиссии, протекавшей в согласии со всеми соприкасавшимися с ней учреждениями и все более привлекавшей бла-

гожелательное внимание общественных кругов, я простился с вел<икою> княгиней и стал торопиться в Петербург.

* * * * *

Как ни был я подготовлен к неминувости того неведомого, что наступало, что логически не могло не наступить, я, конечно, не улавливал сроков. И в этой тихой Ялте, вдали от политических битв кипевшей напряженной борьбою северной столицы, сроки казались тем отдаленнее, что не слышно было раскатов грома приближавшей грозы. Мягкая, теплая осень, неподвижность ласкающих подножья гор светло-дымчатых туманов, редкие слезы глубоких посеревших небес над тихо плещущим морем навевали на утомившуюся природу такую сонную негу, такой безмятежный покой, что усыплялась в торжественной тишине беспокойная мысль, казалась преувеличенною и больною нараставшая там, на севере, тревога.

* * * * *

В Туле я вышел пообедать и купил на вокзале газеты. Когда я их развернул, то глазам своим не поверил — так был радостно ошеломлен прочитанным неожиданным известием. Моим министром был назначен мой добрый друг Николай Николаевич Покровский. Штюрмер, уволенный в первых числах ноября с поста председателя Совета министров, лишился-таки к концу месяца и портфеля министра иностранных дел³⁶. Распутинцы потерпели поражение. Для них «кристаллически честный», как называла его Государственная дума, Н. Н. Покровский не являлся ни в каком случае подходящим главою дипломатического ведомства.

Государственным контролером на место Покровского был назначен, по сообщению газет, Феодосьев, тот самый бывший чиновник Государственной канцелярии, которого Коковцов хотел определить десять лет перед тем на ту должность начальника отделения Департамента окладных сборов, на которую Покровский проводил и провел меня. Феодосьев был тогда утешен назначением начальником отделения в канцелярию Совета министров. Оттуда Коковцов взял его к себе директором общей канцелярии Министерства финансов. Барк, сменивший Коковцова на посту министра финансов, оценив бюрократическую исполнительность Феодосьева, провел его себе в товарищи. В качестве товарища министра финансов Феодосьев формально стал министрабельным лицом. Поэтому и был назначен на открывшуюся вакансию государственного контролера. Должность эта не требовала инициативы. Для нее бюрократическая исполнительность Феодосьева являлась достаточным минимумом. Выбор был не блестящий, но сносный уже тем, что он был не распутинский.

Не распутинским являлось и сообщавшееся газетами назначение министром земледелия А. А. Риттиха взамен уволенного графа Бобринского³⁷. А. А. Риттих был старшим сыном маленького генерала-петушка, командовавшего в свое время армейскою дивизиею в Ярославле. Поэтому по моим связям с Ярославлем я

об этом новом министре наслышан был давно. Немного и знал его, еще со времен моего студенчества. Помню А. А. Риттиха секретарем Департамента полиции, в котором он начал свою службу. Потом он служил в других ведомствах, везде проявляя отменную бюрократическую исполнительность при отсутствии инициативы, *которая отличала Феодосьева*. На некоторое время я вовсе потерял его из виду — таким он, в сущности, был незаметным лицом. В годы безвременья накануне «конца» этот «один из многих» прошел в министры. Нехорошо было, однако, что в данном случае, *не в пример должности государственного контролера, тут* требовалась инициатива, и инициатива чрезвычайная. На министре земледелия лежала ответственность за продовольственное дело, находившееся в ту пору в состоянии полнейшей разрухи.

В Москве я задержался на сутки по личным делам. Надо было повидаться с двоюродным моим братом Николаем Сергеевичем Лопухиным, молодым общественным деятелем, сподвижником председателя Союза земств и городов князя Г. Е. Львова. Я застал Николая Лопухина в управлении союза, представлявшем собою громадный муравейник суетливо работавшего люда. Внушительная была организация. И резко оппозиционная. Работала на войну, сколько могла, но с отличавшею земскую и городскую общественность императорской России бесхозяйственностью³⁸. Это не мешало этой общественности становиться в героическую позу и поносить не только заслуживавшее поношения разлагавшееся бессмысленными, а порою и позорными назначениями правительство, но и совершенно поношения не заслуживавший подчиненный этому правительству государственный аппарат, который по составу работников был на самом деле куда выше аппарата организованной общественности. Последний был в ту пору вообще плоховат, а во время войны засорялся еще теми отрицательными элементами, которые устремились на службу работавшего на войну Союза земств и городов только потому, что служба эта освобождала от мобилизации в действующую армию.

Мы провозились с Николаем Лопухиным над общими нашими делами до вечера. Обедать он меня пригласил в Английский клуб, членом которого состоял. Я с удовольствием ухватился за его предложение. Московский Английский клуб! Для меня, чьи корни были московские, он представлялся целую эпическую поэмою родной старины. В тревоге ожидания неведомого и грозного мне хотелось воспрять в стенах этого клуба хоть на один час то безмятежное настроение, с которым проводило в нем свои досуги родное прошлое, со спокойною верою взирая на не смущавший его завтрашний день.

Все здесь, начиная со швейцарской, проникнуто было тою великою простотою, которая отличает подлинно художественную роскошь. Мебель, бронза — старинные, великолепного, непревзойденного вкуса. Картины мастеров. Спокойные, не кричащие краски стен и тяжелых тканей убора окон и дверей. К обеду собралась немногочисленная компания — не более человек десяти-двенадцати. Из встречавшихся мне ранее лиц — бывший губернатор граф Муравьев, генерал Степанов, состоявший при вел<икой> кн<ягине> Елизавете Федоровне. С остальными Николай Лопухин меня познакомил. Отнеслись ко мне радушно. Обстановка была совершенно семейного домашнего обеда. Превосходный стол тонкой кухни, но именно домашний, без вычурных ресторанных эффектов. Хорошая закуска, добрая водка, тонкие вина. Простые, непринужденные разговоры. За кофе сидели долго. Курили. Беседа особенно оживилась к концу. Не хотелось расходиться.

К вечеру публика стала прибывать. И незаметно обширные залы клуба наполнились. Миновала интимность тесного круга. И пора было мне отправиться за моими вещами в гостиницу и оттуда ехать на вокзал.

* * * * *

В Петербург я приехал утром в неприсутственный день — 6 декабря, в именины царя, в которые обычно происходила торжественная служба в Казанском соборе. Желая поскорее повидать Покровского, который должен был обязательно быть в соборе, и встретиться с сослуживцами, *из которых имевшие придворные звания также должны были собраться в соборе*, я, в свою очередь, поспешил в собор.

Служба уже началась. Я пробрался в отведенное старшим гражданским чинам и придворным правое крыло собора. Налево располагался генералитет. Стал всматриваться в сановные спины. Покровского заприметил. Фигура его была высокая и крупная. Нашлись и приятели. Но никого не было из сослуживцев. На торжественных службах, на которые приглашались старшие гражданские чины, придворные и генералитет, им отводились места впереди, перед клиросами и амвоном, отгораживавшиеся от остальной площади собора низкой, в половину человеческого роста решеткою. Скопление народа всегда бывало таково, что задние ряды прихожан, напирая на передние, придавливали их к решетке, и та, составленная из отдельных перегородок на двуножных устоях, порою подавалась и расходилась. Осаживали напиравшие ряды прихожан и выпрямляли решетку городовые. Получалось впечатление волнующегося моря, наваливавшегося на шитую на живую нитку утлую плотину. Того гляди прорвет ее и снесет. И всякий раз, что я стоял внутри этого отгороженного круга и наблюдал тревожное колебание его решетки под натиском волнующегося людского моря, я думал о другом море — о революционной стихии, которая сметет все обветшавшие перегородки, настигнет, опрокинет и растопчет все ими отгороженное от негодующего народа, воплощавшее для толпы источник народных бедствий. В этот оказавшийся последним царский день в Казанском соборе решетка, отгораживавшая сановников и генералитет, колебалась особенно порывисто и сильно. Помощник градоначальника Лысогорский то и дело носился по цепи охранявших решетку городовых. Видение сокрушающей плотину бурной волны выступало особенно ярко и грозно.

По окончании молебна я подошел к Покровскому. «Вот уж чего я никак не ожидал! — отвечал мне на мое радостное приветствие Н. Н. — Все это подстроил Трепов. Отказаться было невозможно. Ну что же, послужим вместе. Но вряд ли это будет долго продолжаться. Мы уже переехали к вам в министерство. Заходите вечерком. Мне очень хотелось бы с вами побеседовать. О многом порасспросить. Кстати, расскажете о ваших крымских впечатлениях. Хотел уйти Нератов. Но я его уговорил остаться. Испросил ему назначение в Государственный совет с оставлением в должности товарища министра. Это его гарантирует от возможных случайностей³⁹. Другие не пытались от меня сбежать. Половцов со мною обворожителен».

Вечером я впервые вошел в квартиру министра иностранных дел как в дом почти родной и близкий. Если не особенно радовался своему новому назначе-

нию Николай Николаевич, отдавая себе отчет о крайней серьезности положения, то ликовали Екатерина Петровна, старики-родители Н. Н. и его сыновья, прервавшие свои занятия в университете и поступившие, после прохождения краткосрочных военных курсов в Пажеском корпусе, офицерами в действующую армию. Сейчас они приехали на несколько дней в отпуск в Петербург. За чаем Н. Н. расспрашивал меня о делах, порядках и лицах. Обменивались замечаниями, впечатлениями. Пришел Г. Г. Витте. Зашла речь о внутреннем политическом положении. Мы с Н. Н. признавали его крайне серьезным, *я лично — почти безнадежным*. Г. Г. находил, что революция во время войны возможна, но отнюдь не неминуема. Паническое настроение в среде правительства может ее вызвать, а уверенность власти в своей силе — предотвратить. Правительство может и должно окрепнуть, не поддаваясь шатаниям, навеваемым на него извне. Говорил докладчик императрицы Александры Федоровны по делам призрения жертв войны. Императрица не считалась с неминуемостью революции. Г. Г. являлся подголоском Александры Федоровны.

* * * * *

Я вновь впрягся в мое двойное ярмо — в департаментскую страду, в невежливо разросшиеся дела особой комиссии. Надо было из комиссии уходить. Я подготовил себе отступление.

* * * * *

Недели через полторы-две после моего возвращения мне позвонил по телефону В. А. Бонди и сообщил об убийстве Распутина⁴⁰. Я телефонировал Покровскому. Н. Н. отнесся в свое время с недоверием к информации Бонди о назначении Протопопова министром внутренних дел. Но пришлось ему повиниться в неосновательности проявленного недоверия. На этот раз Покровский поверил сообщению Бонди. А через несколько часов новость облетела весь город.

Как впоследствии выяснилось, убили Распутина член Государственной думы В. М. Пуришкевич, вел<икий> князь Дмитрий Павлович и супруг кн<ягини> Ирины Александровны (дочери велик<ой> княгини Ксении Александровны) князь Ф. Ф. Юсупов-Сумароков-Эльстон. Преодоление инерции, переход от слов к делу взяли на себя общественные верхи.

На свете больше людей неумных, чем умных людей. Неумное большинство рассудило, что убийством Распутина все спасено. Не учло, что само по себе убийство было лишь полумерою. Предостережением столь же бесполезным, сколько безнадежно поздним по отношению к тем, чья пораженная вырождением большая мысль творила распутиных, *как ферментирующая сырая гниль порождает и выращивает поганки. Растопчите одни — на завтра вырастут другие, пока не убереете самую питающую их гниль*. Люди думали: убит Распутин. Устранена причина помрачения. Околдованная воля скинет с себя кошмарные путы. Работу на гибель сменит просветленный порыв ко спасению. Но убийством Распутина не искоренена была большая мысль, вознесшая непотребного хлыста на правитель-

ственную высоту. Не было когда Распутина, были филиппы, папосы и другие темные проходимцы, лишь не успевшие или не сумевшие вырасти в правители России. Не стало Распутина, осталась распутиновщина. И тотчас на место раздавленной гадины стала другая. По мере приближения к гибели разум все более помрачался. В эти дни в Царскосельском дворце положительно с ума сошли. Н. Н. Покровскому передавали за достоверное, будто при участии страдавшего прогрессивным параличом министра внутренних дел Протопопова вызывался дух Распутина⁴¹. Кончилось будто дело тем, что Протопопов объявил, что он уже не он, а воплощение духа убитого старца. *Душа Протопопова отлетела, ибо несомненно двум душам обитать в одном теле.*

Так как и после убийства Распутина он остался жить, лишь в протопоповском образе, то ясно, что политика *окончательно* помрачившейся в своем разуме верховной власти не изменила своего курса. Разве стала еще хуже, ибо влиявший на нее подлинный Распутин был, при всем своем негодяйстве, проходимцем все-таки неглупым. Сменивший же Распутина, восприимчивый его *дух* и губительное влияние Протопопов, когда и был здоров, умом не отличался, а теперь стал полусумасшедшим вследствие проявившегося у него прогрессивного паралича.

Поэтому если раньше общественность, Дума и из состава кабинета честные министры добивались изгнания Распутина, то теперь они стали единодушно требовать удаления Протопопова.

В курьезном положении в этом отношении оказалась Дума. Ничтожный и больной Протопопов, пока был членом Думы, был у нее в чести. Мало того, думские лидеры во главе с председателем Родзянко только что перед тем «проводили» Протопопова на пост министра торговли⁴². Теперь они оправдывались тем, что Протопопов не был будто бы тогда больным и не была известна оказавшаяся близость его к Распутину, приведшая Протопопова к власти. Плохо, стало быть, присматривалась к нему Государственная дума. Он когда и стал министром, не проявлял признаков такого острого умопомешательства, что требовалась горячая рубашка. Особенно резкой перемены в состоянии здоровья не последовало. Болен же был давно, а неумен и ничтожен — всегда. Это следовало заметить Думе раньше. С другой стороны, нельзя было Думе проморгнуть близости Протопопова к Распутину. В хорошеньком положении оказалась Дума, проводившая в желательные для себя министры распутинского служку! Дума оскандалилась, рекомендуя Протопопова на пост министра торговли. Показала себя бедною людьми, избрав его в товарищи председателя Думы.

Из числа министров на удалении Протопопова настаивали премьер Трепов, министр народного просвещения граф Игнатъев и с первых же своих докладов царю Н. Н. Покровский. Все они просились в отставку, указывая на невозможность совместной работы с Протопоповым. Просьбы их об отставке были отвергнуты. Несколько времени спустя, в конце декабря, Трепов и граф Игнатъев были, однако, уволены. Премьером, как ни противился, был назначен совершенно к этому посту не подходивший, к власти отнюдь не стремившийся и ее не добивавшийся член Государственного совета князь Н. Д. Голицын, бывший губернатором в нескольких губерниях, между прочим, долгое время в Тверской⁴³. Последнее время был вице-председателем состоявшего под председательством императрицы Александры Федоровны Комитета по оказанию помощи русским военнопленным. Я его встречал в комиссии товарища министра финансов Кузьминского по

отпуску средств на надобности военного времени испрашивавшим кредиты для комитета военнопленных. Странное назначение! Неподходящее, сознающее свою неподготовленность лицо, а потому отказывающееся принять бремя власти, назначается главою правительства в такую минуту, когда в стране, изнемогающей от войны, наступает революция. Министром народного просвещения на место графа Игнатьева назначается некто Кульчицкий. Раньше мы о нем не слыхали. Когда заинтересовались, нам сказали: реакционер-черносотенец, *бездарный и тупой*.

* * * * *

В эти дни помрачался рассудок у людей и считавшихся неглупыми. Мыслились ими, серьезно задумывались и говорились совершенные нелепости.

В самом конце декабря в нашей министерской церкви служили панихиду по скончавшемуся после в Лондоне графе Бенкендорфе. На панихиду прибыл вел<икий> князь Николай Михайлович, известный своими историческими исследованиями и трудами, заслужившими ему звание почетного члена не только нашей, но и Французской академии наук. Человек несомненно недюжинный, солидный, немолодой. Народу в церкви было мало. В числе присутствовавших находился Николай Николаевич Покровский и я. По окончании панихиды, выходя из церкви в министерский коридор, вел<икий> князь обнял Николая Николаевича за талию и весьма оживленно стал что-то ему шептать. Н. Н. вскидывал голову, подымал плечи, разводил руками, словом, выражал крайнее изумление. Вел<икий> князь с ним простился и быстро зашагал к выходу из министерства. Я настиг Николая Николаевича. «Что он вам сказал? Вы так изумлялись, что я горю нетерпением узнать, в чем дело?» — «Что он мне сказал? Вы представить себе не можете! Он мне сказал: “Каково мне, великому князю, готовиться на старости лет в президенты Российской республики. *А дело определенно клонится к тому!*”».

Было чему изумиться. Они, великие князья, думали овладеть властью и ее удержать даже в случае падения монархии. Народ, видите ли, и по провозглашении республики пойдет за Романовыми и воспримет их ставленника, выбранного из их среды в президенты. Поистине помрачение разума!

Дня через два мы узнали, что великокняжескому претенденту на президентское кресло было повелено удалиться из Петербурга в одно из его имений. Говорили, за письмо к царю от имени всей императорской фамилии с просьбою, похожею на требование, смягчить меру наказания за убийство Распутина вел<иному> кн<язю> Дмитрию Павловичу. Последний куда-то высылался. Находили, что чересчур далеко. Несколько раньше Николай Михайлович писал царю, предостерегая от продолжения политики разрыва с общественностью и действий, направленных ей наперекор⁴⁴.

* * * * *

Когда я задумываюсь над эпопеею распутиновщины, имевшею в своей основе заведомую душевную болезнь Александры Федоровны, передававшуюся ею и неустойчивому мозгу царя, я вспоминаю одно-единственное заседание Верхов-

ного совета по признанию жертв войны, происходившее под председательством императрицы, на котором я присутствовал и которое показало, что помрачение духа Александры Федоровны, проявлявшееся в известной обстановке и по известному поводу, укладывалось с ясностью ума при иных условиях и в ином направлении мысли. Заседание происходило в начале осени 1916 года, еще за время премьерства Штюрмера, в Зимнем дворце. Присутствовали императрица, дочери ее, вел<икие> княжны Ольга Николаевна и Татьяна Николаевна, министры, председатель Думы Родзянко, некоторые члены Верховного совета и особой ее комиссии. Докладчиком был Штюрмер. Некрасноречив был распутинский премьер. Он мямлил, путал, сбивался. Трудно было уловить его мысль. Последовали сдержанные прения присутствовавших. Менее сдержанными по форме были возражения Родзянко. Обсуждался, между прочим, вопрос об отпуске средств Верховному совету из Государственного казначейства. Хотя они заимствовались из кредитов на надобности военного времени, отпуск которых был уже санкционирован в установленном порядке, Родзянко доказывал, что перечисления из этого источника по конкретному назначению на нужды Верховного совета не могут последовать помимо Думы. Она должна обсудить и целесообразность испрашиваемых ассигнований, и их размер. Как во всех риторических выступлениях Родзянко, убедительность его аргументов подкреплял указательный перст думского председателя. Он преподносился оратором к его носу и оттуда грозил в пространство. В увлечении своею аргументацией Родзянко стал грозить перстом в сторону императрицы, к которой обращался с речью: «Помимо Думы, ваше величество, — перст усиленно закачался, — сделать этого нельзя!» Не обращая внимания на довольно-таки неприличную жестикуляцию думского председателя, которого Александра Федоровна не терпела и о котором будто бы говорила, что «его следовало бы повесить», императрица стала резюмировать прения. ^{а-а}И как деловито^а, ясно, толково! Я ушам своим не верил. Вот так душевнобольная! И тем не менее, именно душевная болезнь переплеталась в этой трагической женщине больной гессенской крови с ясностью рассудка в суждениях о предметах, непосредственно не касавшихся затемнявшего ее сознания мракобесия.

^{а-а} Вписано вместо: «И каким деловым, чисто русским языком, без малейшего иностранного акцента, как умно».